



Александр МЕЛИХОВ

ДУХОВНОСТЬ И АРИСТОКРАТИЗМ

Толстой и Достоевский настолько закрепились в качестве международного бренда Золотого века русской культуры, что Ильф и Петров даже объединили их имена в один из своих псевдонимов — Толстоевский. Их склонны объединять и под туманным клише «великие гуманисты». Хотя они почти во всех конкретных проявлениях «гуманизма» были антиподами.

Не уверен, что это имело решающее значение, но Толстой по происхождению и родству принадлежал к высшей российской аристократии, а Достоевского бедные люди сопровождали с колыбели, с правого флигеля Мариинской больницы для бедных, где служил его отец — штаб-лекарь Михаил Андреевич Достоевский. Семейство было «русское и благочестивое», посчастливилось и с няней Ариной, то бишь Аленой Фроловной, «характера ясного, веселого», умевшей рассказывать «такие славные сказки!» и называвшей себя Христовой невестой, — это не мешало ей нюхать табак и ужинать так плотно, что по ночам ее регулярно «душил домовый». Родители же вечерами читали вслух тогдашних знаменитостей: Державина, Пушкина, Жуковского, в ту пору более авторитетного, чем Пушкин, и к десяти годам Федя уже усвоил почти все главные эпизоды русской истории по Карамзину. Сам же читать он учился по книге «Сто четыре Священные Истории Ветхого и Нового Завета» и впоследствии хранил эту книгу как святыню.

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия 2008 года журнала «Полдень, XXI век» (гл. редактор Борис Стругацкий). Премия фонда «Антифашист». Лауреат премии журнала «Иностранная литература» за 2015 год. Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квзимодо» (2017).

Кажется, это и были три составных источника его будущих идеологических грез: народные сказки, романтизированная национальная история, Священное Писание.

Нет, был и четвертый источник — доброта крестьянок нищей деревеньки, которую, залезши в долги, приобрел отец, выслуживший потомственное дворянство (полулегендарное родовое было давно утеряно за обнищанием). Господский дом был жалкой мазанкой, деревенька принесла судебные склоки с соседом и разорительный пожар, после которого маменька безвозвратно раздала крестьянам на обзаведение огромные для их доходов суммы, — почему бы впоследствии писателю было не верить в возможность гармонии между мужиками и помещиками? (При том, что отец его, больше века считалось вполне достоверным, был убит собственными крестьянами, сумевшими в дальнейшем откупиться от следствия.)

Но самым поэтичным ему запомнился, кажется, соседний березняк: «И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев». Кажется, нигде больше он не изображал природу так красочно и любовно, как этот березняк, в котором девятилетний мальчишка вдруг испугался привидевшегося, а точнее, прислышавшегося волка. А пахавший неподалеку добрый мужик Марей, улыбаясь «материнской и длинной улыбкой», успокоил улепетывавшего со всех ног барчонка: «Полно, родный».

Потом случилась страшная смерть матери — вполне молодой женщины, ушедшей почти одновременно с уже обожаемым к тому времени Пушкиным. Затем нежеланное Главное инженерное училище, по дороге в которое будущий «новый Гоголь» сочинял в уме роман из венецианской жизни, унижение от невозможности стоять на равной ноге с более богатыми однокашниками, иметь хотя бы собственный чай (вот они, истоки «Униженных и оскорбленных!»), упоение Бальзаком—Гюго—Гофманом—Шиллером, тоже составными источниками его будущего громокипящего вулкана, первая слава «Бедных людей», щедрое пророчество властителя дум Белинского: «Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Затем первые и далеко не последние обиды на вчерашних почитателей, не пожелавших принять его уход в гротеск и фантазмагорию (которые, подозреваю, были бы забыты, если бы не его грандиозное пятикнижие, — хотя и в нем соединение гиперреализма с мифом, гротеском, проповедью, аллегорией и фантазмагорией довольно многим представляется фальшью), нескромное обаяние социализма, расстрельный приговор за слова, слова, слова, каторга, озверелое окружение и вдруг — почти забытый образ Марей...

«Я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце».

На вершине славы и на пороге смерти Достоевский и провозгласил всемирную отзывчивость исторической миссией русского народа: «Я именно напирал в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия».

Красиво сказано! Достоевского и в христианстве пленяла прежде всего не его практичность, а его красота. «Красота» — ключевое слово моральной философии Достоевского.

Оттого-то его приводили в такое негодование идейные и безыдейные оппоненты, относившиеся с насмешкой к тому, что представлялось ему прекрасным. Тем более что земные орудия прекрасного он желал видеть и в реальных социальных институтах. В церкви, по словам Владимира Соловьева, Достоевский усматривал некий «положительный общественный идеал», а государство в каком-то отдаленном будущем должно было обратиться в церковь, «отклонив всякие несходные с церковными свои цели» («Братья Карамазовы»). Толстой же в государстве видел орудие насилия и эксплуатации, а в церкви — орудие «извращения и скрывания истинного христианства» и не прощал им никаких пороков и слабостей, к которым готов был снисходить, покуда они не оправдывались высшими соображениями. Убийства, совершаемые преступниками или абреками, никогда не возмущали Толстого так сильно, как убийства, совершаемые государством, одобряемым церковью. Ключевое слово моральной философии Толстого — «естественность», а красота — это соблазн, который лишь уводит от добра. Жить в любви теоретически ему казалось так же естественно, как перейти из темной комнаты в светлую: «разумное и нравственное всегда совпадает». Бог, сколько его ни загляшай, все равно живет в человеческих душах.

При жизни, а в советской России и после смерти Достоевского многие считали оставшим от жизни реакционером и фантазером. Поскольку уже к середине девятнадцатого века умные прагматики-«реалисты» уверяли, что нации свое отжили, что железные дороги, международная торговля и перемешивание населения в ближайшем будущем создадут единое человечество, — это на пороге свирепейших национальных войн. «Естественнику» Льву Толстому деление людей на нации и вовсе представлялось «фантастическим». А идеалист и романтик Достоевский повторял, что «всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения». И он оказался прав в том смысле, что нацию создают не материальные интересы, а вера в какую-то особую миссию, в какую-то особую судьбу, вера, наделяющая своих приверженцев защитой от чувства мизерности и брэнности, преследующего человеческий род с тех пор, как он ощутил свою беспомощность перед могущественными и безжалостными силами природы. Именно поэтому покушение на их материальные интересы людей всего лишь сердит, а покушение на их национальное достоинство вызывает «святую» ненависть: в понимании причин межнациональной вражды «фантазер» Достоевский оказался куда ближе к истине, чем все мудрые и разумные «реалисты», вместе взятые. Деление на нации оказалось отнюдь не преходящим и не фантастическим явлением.

И уж сколько трезвые и разумные повторяли, что главная мечта человечества — это сытость, а Достоевский устами своего Великого инквизитора провозгласил, что главное стремление человечества — это возможность преклониться перед чем-то бесспорным, настолько бесспорным, что перед ним преклоняются все люди вместе. Фантазия? Но на рубеже двадцатого века великий социолог Дюркгейм на огромном статистическом материале показал, что главной причиной роста самоубийств является упадок сплоченности, то есть совместного преклонения перед чем-то бесспорным. Достоевский снова оказался более прозорливым, чем все мудрые и разумные.

Для Толстого же, опять-таки теоретически, убивать себя «неразумно»: «Пока есть жизнь в человеке, он может совершенствоваться и служить миру». Вот и Левина избавило от мыслей о самоубийстве понимание того, что жизнь имеет несомненный смысл добра. Анна же бросилась под поезд оттого, что восстала против естественного хода вещей.

И еще одна если и не вечная, то долговечная проблема — надо или не надо казнить преступника. Лично я давно понял, что, *высказываясь за смертную казнь или против нее, мы характеризуем не столько проблему, сколько собственную личность*. Я обратил

внимание, что в былые времена казнь была театрализованным представлением: запекать человека в полом медном быке, чтобы его вопли имитировали рев животного, поджаривать на вертеле, как зайца, жарить в муке, как карася, раздавливать при помощи дрессированного слона, распиливать вдоль и поперек, разрывая четверкой лошадей, бросать на съедение диким зверям...

Примеры можно множить и множить, но все они укладываются в три группы: казнь-наравоучение, казнь-цирк и казнь-спорт. И за всеми рациональными аргументами кроется самый весомый — эстетический. Уже давно высказанный Достоевским: нравственно только то, что *совпадает с нашим чувством красоты*. С учетом того, что Ставрогин «не знал различия в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою штукой и каким угодно подвигом».

Я уверен, что Достоевский и в этом прав, но научное изучение роли эстетики в социальной жизни еще впереди.

Толстой же, рассказывая о гильотинировании, ссылается не на чувство красоты и не на разум, а на *все свое существо*: «Я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно, но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял — не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха...»

Игорь Волгин в своей книге «Странные сближенья: национальная жизнь как литературный сюжет» (М., 2019) тоже сопоставляет Достоевского и Толстого.

Для Достоевского вера — это вечное стремление, лишь изредка достигающее цели: «Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть»

У Толстого же, как точно подметил Волгин, «вовсе нет сугубо личного, интимного восприятия Иисуса из Назарета. Он скорее относится к нему *как к коллеге*. Недаром еще в 1855 году, в возрасте 26 лет, он записал в дневнике: „Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле“».

На земле! Толстой даже из своего пересказа Евангелия изгоняет то главное, что только и делает религию религией, — чудеса, обещание какого-то иного, лучшего мира; в своей «Исповеди» он откровенно берет уроки у животных: птица, коза, заяц, волк должны кормиться, «множиться», кормить свои семьи, и человек должен точно так же добывать жизнь, с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, ему надо добывать ее не для себя, а для всех, — «и когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна» (недаром в толстовских романах бывают счастливы только дюжинные личности, не выходящие из традиционной колеи, — или, изредка, блаженные, чудаки). Для Достоевского же все высокие идеи так или иначе связаны с идеей вечной жизни: «Я объявляю, что любовь к человечеству — даже совсем немислима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой»; «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А выс-

шая идея на земле *лишь одна* и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные „высшие“ идеи жизни, которыми может быть жив человек, *лишь из нее одной вытекают*».

Для Достоевского истина — это вечная борьба с собственным бунтом, предпочитающим остаться при «неутоленном негодовании», — для Толстого — практический итог. Он и после смерти Достоевского 5 декабря 1883 года в письме к Н. Страхову назвал ложным и фальшивым возведение Достоевского в пророка и святого — «человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, *который весь борьба*». Надо сказать, что и Достоевский хватался за голову, отчаянным голосом повторяя: «Не то, не то...», — когда двоюродная тетка Толстого Александра Андреевна Толстая, камер-фрейлина и воспитательница дочери Николая Первого, читала Федору Михайловичу вслух письмо ее знаменитого племянника, в котором тот излагал свои взгляды на веру.

Для Толстого и в художественном его творчестве красота не только не индикатор нравственности, но, напротив, соблазн, уводящий от добра: среди сотен и сотен его разнообразнейших персонажей нет ни одного, кто служил бы добру и был при этом красив, — красивы только сильные и смелые. Достоевскому, пожалуй, тоже не удалось убедительным образом соединить добро с красотой.

Размышляя об «Анне Карениной», Достоевский как о чем-то очевидном упоминает, что зла невозможно избежать ни при каком устройстве общества, что ненормальность и грех исходят из самой человеческой души, — для Толстого же грех порождается именно ненормальностью устройства общества.

Немудрено, что, исходя вроде бы из общих христианских начал, оба пророка приходят к полярным итогам. Толстой жаждет отменить и государство, и церковь, и царскую власть, Достоевский же стремится обратить государство в церковь, а монарха в некое подобие любящего отца своих подданных: «Мы верим в свободу истинную и полную, живую, а не формальную и договорную, свободу детей в семье отца любящего и любви детей верящего, — свободу, без которой истинно русский человек не может себя и вообразить» (И. Волгин. Колеблясь над бездной. Достоевский и русский императорский дом. М., 1998). При всей буквалистической наивности этой грезы (в каких реальных формах могли бы выразиться эти отношения монарха с его «детьми?»), Достоевский «в высшем смысле» что-то, как обычно, угадал: каждый народ порождается коллективным воображением, в котором он предстает себе подобием семьи. Государственная пропаганда и донныне стремится растрогать людей «семейными» метафорами: убивают наших братьев, бесчестят наших сестер, братский народ, родина-мать...

Так что метафора «царь-батюшка» — в эпоху Достоевского, возможно, еще могла найти отзыв в сердцах какой-то части подданных, однако другую, как раз самую европеизированную и активную часть могла только взбесить, еще более обострив общественный раскол. Хотя в какой-то мере Достоевский склонялся к народнической демократии, мечта привлечь к управлению государством «серые зипуны», чтобы через народ-богоносец ввести христианские идеалы в государственную политику. Но к каким практическим мерам по разрешению исполнских конфликтов, внутренних и международных, это должно было привести, ведомо разве что Иисусу Христу.

Радикальный народнический критик Михайловский в 1883 году в статье «Жестокый талант» обвинял Достоевского прямо-таки в садизме: «Он просто любил травить овцу волком, причем в первую половину деятельности его особенно интересовала овца, а во вторую — волк». Михайловский, кажется, готов был согласиться, что людям определенного склада сладостно помучить кого-то беспомощного, и даже указывал, что может послужить для них тормозом.

«Властные люди могут — и это не только теоретическое соображение, а и многократный исторический факт — склоняться перед идеальным началом, в создании которого они сами принимали участие, в которое они вложили частицу самих себя, своей мысли, чувства, воли; а таким началом может быть только определенный общественный идеал. Будь такой идеал у Достоевского, он не допустил бы его заниматься ненужным мучительством и беспредметною игрою мускулов творчества, а направил бы его жестокие наклонности в какую-нибудь определенную сторону. Но у Достоевского такого идеала не было...»

Я думаю, Достоевский даже счел бы нелепым применение столь высокого слова, как идеал, к практической политике. Он мог изобретать захватывающие перспективы для общенациональной исторической миссии, но до анализа конкретных социальных проблем, до злобы дня он, можно сказать, не снисходил. Это понимал и его идейный враг Щедрин: «По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых Достоевским, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель непосредственных, а отдаленных исканий человечества».

Подобно всем прочим пророкам, Достоевский как будто полагал, что проблемы должны разрешиться сами собой при избрании правильного религиозного компаса.

При том, что стрелки толстовского и достоевского компаса указывали в прямо противоположные стороны.

Видимо, и тот и другой русский гений в какую-то трезвую минуту могли бы признаться: царство мое не от мира сего.

Однако оба эти царства крайне необходимы людям, которым слишком тоскливо жить скучной и недоброй злобой дня.

Чтоб хотя бы в принципе знать, куда ж им плыть.

Куда же плыли сами пророки, для их паствы не так уж важно, — важно лишь утешение и просветление, которое они даруют своим читателям и почитателям. А удалось ли самим утешителям до конца заговорить свой личный экзистенциальный ужас, это их личное дело.

Правда, Лев Шестов в своем блистательном эссе «Достоевский и Ницше» с самой ретроградной физиономией доказывает, что Достоевский мог сладкими слезами оплакивать погибающих лишь до тех пор, пока сам не попал в их число и в этом адском подполье не постиг, что все утешения годятся лишь для самих утешителей, а для погибающих никаких утешений не существует — разве что проклясть весь мировой порядок и более всего тех, кто проповедует какие-то издевательски оптимистические социальные идеи. У него самыми мощными и получают циники и скептики, а их блеклые антиподы лишь едва подают признаки жизни.

Толстой же, по Шестову, совершенно холоден к людским страданиям, если только посреди них он находит возможность ощущать себя добродетельным, он так жаждет быть в союзе с высшим Добром, с высшей Справедливостью, что изо всех своих могучих сил стремится обвинить самих несчастных в том, что они несчастны. Если только нет возможности переложить вину на общественное устройство или человеческую безнравственность, — только бы самому ощущать себя нравственным, а там хоть бы и свету провалиться.

Жизнь, как ни надрывайся, переменить невозможно, и даже наших проклятий она не слышит. «Так направим наше негодование на человека: он услышит. Нужно только уметь бить его и знать больные места».

Но Шестов тут же находит обоим пророкам и оправдание: «Если попытки справиться с „великим безобразием, великой неудачей, великим несчастьем“ настолько измучили их своей безуспешностью, что они принуждены были перестать допрашивать

жизнь и искать забвения в проповеди, то в этом лишь доказательство высокой требовательности их натур. Они уже не могли больше жить без ответа на свои вопросы — и всякий ответ был лучше, чем ничего».

Что ж, возможно, наши гении действительно таковы. Но ведь таковы же и мы сами, ведь и нас способен воодушевлять могучий порыв к истине, если даже им почти невозможно руководствоваться в практической деятельности.

Только не странно ли, что столь противоположные стремления Толстого и Достоевского мы именуем одним и тем же словом — духовность? Не странно, потому что и в том и в другом случае речь идет о стремлении возвыситься над личными интересами в заботе об отдаленном счастье человечества.

Но ведь готовность возвыситься над личными интересами во имя каких-то наследственных ценностей есть, в идеале, определяющее свойство так называемой аристократии — не только сословной, но и духовной: честь выше жизни, истина выше жизни, красота выше жизни, милосердие выше жизни...

Однако аристократии, служащей не отдаленному и сомнительному счастью человечества, а какому-то земному благородному делу, мы у двух этих гениев видим очень мало. Вернее, военная аристократия, готовая пожертвовать жизнью во имя чести, у Толстого представлена весьма выразительно. Но служения каким-то творческим, созидательным ценностям мы почти не находим во всей русской классической литературе.

Что рождает невольный вопрос: не была ли тема аристократизма в русской литературе в какой-то, а может быть, и в значительной степени подавлена ее духовностью?